

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Р65

Розов, Виктор Сергеевич.

Р65 В московском ополчении / Виктор Розов. — Москва : Родина, 2020. — 240 с.

ISBN 978-5-907255-92-0

Виктор Сергеевич Розов — известнейший советский писатель и драматург, автор более 20 пьес и киносценариев, в том числе сценария одного из лучших фильмов о Великой Отечественной войне — «Летят журавли».

В июле 1941 года Виктор Розов добровольцем вступил в 8-ю дивизию народного ополчения Краснопресненского района г. Москвы. Эта дивизия сражалась с немцами на подступах к Москве, на знаменитом Бородинском поле. В своей книге В.С. Розов рассказывает об этих боях, а также о других событиях военного периода. Его мемуары — правдивый рассказ о добровольцах-ополченцах, наспех обученных и плохо вооруженных, попавших в невероятно тяжелые условия на фронте, будто «нырнувших в ледяную купель», по словам Розова. Многие из них погибли, ценой своей жизни спасая Москву.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-907255-92-0

© Розов В.С., правообладатели, 2020
© ООО «Издательство Родина», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1. Прикосновение к войне

Вместо предисловия	7
Белоснежная фея	9
Госпиталь	16
В московском ополчении	23
Начало	24
Решение	29
На Бородинском поле	31
Дикая утка	36
Глупость	38
Приговоренный	39
После боя	39
Белая булка и музыка	41
Кусочек сахара	43
Судьба	44

Часть 2. Перед войной и после войны

Перед войной	47
Страх	47
Глазами ребенка	49
Друзья юности	66
Ложь	75
Приюты	81
3 марта 1935 года	89
Зачмон	94
После войны	103
Перемена курса	103

Год в Алма-Ате	110
ЦДКЖ	122
Два события	143

Часть 3. Встречи

Василий Качалов	147
Наталья Сац	155
Алексей Дикий	163
Екатерина Фурцева	167
Марк Шагал	172
Борис Бабочкин	186
Анатолий Эфрос	189
Олег Ефремов	212
Вместо послесловия. «Летят журавли»	224

Часть 1. Прикосновение к войне

Вместо предисловия

Я счастливый человек. Я родился в воскресенье, в престольный праздник города Ярославля — Толгин день. Толга — местечко на левом берегу Волги, выше Ярославля. Там был монастырь, он так и назывался — Толжский монастырь. Что означает слово «толга», не знаю. В этом монастыре когда то было свое чудо — явление иконы Божьей матери. Вот день явления Толжской Богоматери и был праздником, который назывался Толгин день. Ярославцы с утра уезжали в Толжский монастырь — молиться и на пикники. Мама в этот раз не могла поехать из за меня — я рождался.

Мне повезло уже с самого начала — родиться в праздник.

В детстве лет до трех я все время умирал от разных болезней. Совсем умирал, каждый день. Однажды мама принесла меня к врачу, а он, увидев меня, сказал: «Зачем вы несли ко мне ребенка, идите домой, он у вас по дороге умрет». Но меня донесли до дома живым. И я продолжал умирать. Каждый день. К мысли, что я умру, так привыкли, что, кроме маминой сестры тети Лизы, никто и не верил в мое выздоровление. А я выжил. И, как отец Лоренцо в «Ромео и Джульетте», могу воскликнуть: «Опять удача!».

В 1918 году в Ярославле вспыхнул белогвардейский мятеж, организованный Савинковым.

Город горел сильно. Сгорел и наш дом, то есть дом, в котором мы жили, сгорел со всем скарбом. У мамы, папы,

брата Бориса и меня осталось только то, в чем мы были, когда прятались в подвале от артиллерийского огня. (Если кто либо заинтересуется, почему отец не воевал, а был с нами в подвале, отвечу: он только что вернулся с войны, и одна рука у него была рассечена саблей.) Родителям вместе с нами удалось бежать из города, захваченного белыми, и мы стали беженцами.

Опять таки я остался жив! Опять удача!

Попали мы на житье в маленький городок Ветлугу. Деревянные домики, речка, дремучие леса, до железной дороги девяносто верст. Тротуаров нет. Голая, чистая земля, такая ласковая для детских босых ног. Природа... До десяти лет. А потом до девятнадцати — Кострома с ее Волгой, песчаным островом, лодкой, бреднем, лесами. Разве это не счастье — столько лет быть рядом с природой?! Нет, не рядом, а внутри ее. Разве это не везение?!

В Ветлуге нас застал знаменитый голод времен Гражданской войны. Люди ели картофельную шелуху, кору... Но мне опять повезло. Родители снимали квартиру в доме, хозяин которого имел колбасную мастерскую. Мы, мальчишки, впрягались в ворот, который раньше вращали лошади, и вертели его, прокручивая мясо. Это было увлекательно! А сверх того после работы каждый из нас получал кольцо горячей, багровой конской колбасы. Такой сочной, что, когда, бывало, ткнешь в это кольцо вилкой, брызгал душистый соленый сок.

И я не умер в тот год.

Когда в Костроме я учился в восьмом или седьмом классе, отправлялся от кружка безбожников в деревню объяснять крестьянам, что Бога нет. Это было не нахальство с моей стороны, а детская вера в то, чему тебя учили в школе. Ходил под праздники верст за восемь-двенадцать в любую погоду по бездорожью.

Уже началась коллективизация. Я тогда ровно ничего не смыслил в этих делах. Прочту лекцию о Пасхе, а потом меня запирают до утра в амбаре на большой замок, чтоб не убили.

И не убили. И волки по дороге не съели. А я их видел. Страшно. Очень страшно. Могли съесть. Чего им стоит — мальчишку! Я сжимал в руке перочинный нож. А что им перочинный нож — у них зубы-то какие!..

БЕЛОСНЕЖНАЯ ФЕЯ

Да, я, пожалуй, должен прерваться и сказать, сколько мне лет сейчас, когда я пишу эту книгу.

По паспорту мне восемьдесят шесть лет, но ведь это неправда. Впрочем, астрономически так и будет — восемьдесят шесть. Но разве можно жизнь человека измерять какими-то абстрактными отрезками времени, как мануфактуру в магазине деревянным зализанным метром? По-моему, нельзя. Одно дело — столетний кавказец, дитя гор, неба, пастбищ, долин. Что он за эти сто астрономических лет видел, что пережил? Картина перед ним растилалась довольно ровная. Другое дело, допустим, солдат, прошедший за четыре года Великой Отечественной войны путь от Москвы до Берлина. Солдату-то, может, к концу войны не двадцать пять лет будет, а сто двадцать пять. А тот кавказец по сумме впечатлений и потрясений недалеко ушел от шестнадцатилетнего возраста.

Да, да, жизнь должна измеряться не календарными листочками, а суммой впечатлений, полученных человеком от соприкосновения с внешней средой. Эту теорему, на мой взгляд, нетрудно доказать следующим образом.

Ну, во-первых, все, кто пережил минувшую войну, согласятся со мной, что четыре ее года и сейчас нам кажут-

ся целым громадным периодом в нашей жизни, минимум десятилетием, а то и больше. Недаром о ней до сих пор много и говорят и пишут. Возьмите любые четыре нормальных мирных года — разве они соизмеримы с теми четырьмя? Или: кто бывал хотя бы в двухнедельных зарубежных поездках, чувствовал, как две недели тянутся долго-долго, куда более месяца или даже трех. Опять-таки — сумма впечатлений огромная. Организм живет по-иному. И глаза, и уши, и мозг — все работает с учетверенной нагрузкой.

Военным пребывание на фронте зачислялось в послужной список в двойном размере — два года за год. Но почему, друзья, только военным? А чем же хуже штатские? Разве они не перенесли на своих детских, отроческих или старческих плечах все тяготы военных лет? Перенесли. Дети особенно. И почему только военные годы? А другие из ряда вон выходящие события, когда весь организм работает сверх полной мощности, почему их — год за год? Каждый знает: есть такие мгновения — и всего-то минуты, секунды, а они старят человека. Волосы седеют, руки дрожать начинают, зрение гаснет.

Нет, ни метр, ни килограмм, ни кулон к измерению человеческой жизни не приложимы. Сколько же мне на самом деле лет? Сейчас прикину.

Родился я в 1913 году. А в 1914 году, как известно, началась Первая мировая война. Отца сразу же взяли на фронт, мама осталась с двумя малышами, пошла работать в шляпную мастерскую. Нужда, нужда... А ребенку нужны жиры, белки, витамины. Их не хватает, очень не хватает. Кладу два года за год: 1914-1918-й.

А с 1918 по 1922 год — Гражданская война с разрухой, холодом и голодом. Я уже писал, что кору ели. Колбаса-то не всегда. Правда, из какой-то фантастической муки пекли пирожки... с кишками. Да, да, мыли кишки, варили, ру-

били, делали начинку. Неплохо. А потом — знаменитый Ярославский мятеж. Видимо, потрясение от него вселило в меня детские страхи, фобии и сделало лунатиком. Об этом я при случае расскажу. Любопытно. Уже тогда я испытывал многое из того, о чем писал Кафка, а «Превращение» бывало и со мной, и именно в детстве, хорошо помню. За год — два года: справедливо.

1929-1935 годы — коллективизация. Даже хлеб не везде был. А я уже подросток и юноша. Мне много надо было хлеба, а где взять? Щи из воблы — не так уж калорийно. Чечевица без масла. А я в это время на фабрике в три смены, на текстильной, «Искра Октября». Мама выбивалась из сил: чем нас с Борькой накормить? А я уже видел страдания мамы, ее слезы, видел и переживал. Даже есть из-за этого хотелось меньше. Помню, мама вымаливала на базаре картошку, чтоб продали подешевле, жили-то бедно, а торговка издевалась, куражилась. Помню, как я закричал на маму, чтоб не унижалась, и два дня не ел вообще — в знак протеста. В такое время взрослешь быстрее. Два года за год...

* * *

Потом Отечественная. И тут сверх нормы я сделаю себе персональную надбавку — тяжелое ранение и год госпиталя положу за четыре года. Стоит, товарищи, честное слово, стоит, не жадничайте, это справедливо.

Ну, представьте себе: меня, тяжело раненного, шесть суток везли с фронта до госпиталя во Владимире, а кровь все текла и текла, и шесть суток я не спал, даже не закрывал глаз. Боль, боль, боль!..

Госпиталь во Владимире помещался в старой церкви. Меня обмыли, положили на полу в подвале под сводами и накрыли простыней. Я, когда меня мыли, поразился, увидав себя без одежды. Самыми толстыми местами ног

и рук были колени и локти, остальное — трубочки костей. Только разбитая нога вздувалась лилово-синей громадой от газовой гангрены, которая подползала уже к животу. Закрыли меня простыней с головой.

Помню, сестра с железным передним зубом осторожно приподняла с лица простыню, удивилась, что я жив, и как-то застыла с выражением страха, недоумения и сострадания на лице. Я шепнул: «Плохо мое дело, сестра?». Она жалко улыбнулась — тут-то я и увидел ее железный зуб — и от растерянности даже не солгала святой врачебной ложью, а кивнула головой и сказала: «Да».

На операционном столе я был в руках крепкой сидящей женщины с коротко стриженными волосами, в которые сзади был воткнут подковообразный простой гребень: тип женщины-партийки двадцатых годов. Она спросила моего согласия отсечь ногу выше колена. Я это согласие дал немедленно, не задумываясь. Никакого расчета у меня не было, никаких острых и сильных эмоций я не испытывал, — надо так надо, о чем и говорить! — как не почувствовал я боли во время ранения, а только удивился, что моя нога лежит как-то странно, отброшенная в сторону, голень — перпендикулярно к бедру, и пошевелить ею не в моей власти, сколько ни старайся.

Так и тут мне было не то что все равно, но был какой то ровный покой: ни страха смерти, ни мысли о том, как же я буду без ноги, ни расчета — ничего. Покой. После моего согласия на ампутацию я услышал резкое: «Маску!» — и мне на лицо сестра положила маску с эфиром и хлороформом.

«Считайте!» Я сделал усилие, прижал маску к лицу руками и быстро засчитал: «Раз, два, три...». На счете «шесть» все поплыло. Последнее, что я услышал, — тот же властный женский голос: «Скальпель!» — с ударением на

звуче «ё». А затем наступило сладкое блаженство. Больше всего на свете мне хотелось спать, и я наконец-то уснул.

Проснулся я в палате коек на четырнадцать, покрытых новыми зелеными плюшевыми одеялами. Была глубокая ночь. Большинство раненых спали. Несколько человек покуривали самокрутки. А в углу на столике стоял патефон, и худенький паренек, попыхивая сигаркой, проигрывал пластинку. По палате тихо-тихо плыла мелодия на тему «Разлилась река широко, милый мой теперь далеко».

Я успел все это разглядеть, прежде чем бросил любопытствующий взгляд на свои ноги. Может быть, потому, что боялся сразу бросить этот взгляд. Посмотрел и очень удивился. Под одеялом явственно проступали обе ноги — одна нормальная, а другая громадная. Это, как я понял позднее, от гипса, в который я был упакован до середины живота. Около меня сидела хорошенькая блондинка с милым, добрым лицом. Она, поймав мой взгляд на гипсовую ногу, пояснила:

— Решили подождать ампутировать, может быть, удастся спасти.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Мария Ивановна.

— А фамилия?

— Козлова.

Какое дивное совпадение! Мария Ивановна — моя учительница в театральном училище, знаменитая блистательная актриса Мария Ивановна Бабанова, в которую я был влюблен и платонически, и эстетически, и еще черт знает как, впрочем, как все мальчишки нашего курса. А Козлова — ведь это фамилия Надюши, моей любимой девушки, моей безумно любимой, до сумасшествия. Да, да, Бабанова Бабановой, а Наденька — совсем другое, хотя и в одно и то же время.

Вот так, друзья, устроен человек. А я, ей-богу, по натуре совсем не донжуан, спросите кого угодно из моих знакомых, подтвердят.

— Что вы хотите? — спросила доктор с дважды родственным для меня именем, отчеством и фамилией.

— Пить.

Белоснежная фея обрадовалась, быстро налила мне из графина, который стоял у постели на тумбочке, воды, подала и сказала:

— Хороший признак. А есть хотите?

— Хочу.

Мария Ивановна чуть не засмеялась. Глаза ее зажглись, как будто там, внутри нее, кто-то чиркнул спичкой.

— Что бы вы хотели съесть?

Что может хотеть полумертвый солдат, давно вообще ничего не евший? Я полусерьезно сказал:

— Хочу пирожков с мясом... и компота.

Тогда это звучало примерно так, как если бы я вот сегодня, когда пишу эти строчки здесь, в Москве, а за окном двадцать шесть градусов мороза, попросил дать мне тарелку свежей лесной земляники.

Марию Ивановну порадовал мой пробудившийся аппетит, она его также назвала прекрасным признаком. Мы перекинулись с ней еще двумя-тремя короткими фразами, потом она молча посидела у моей койки и, видимо успокоенная, ушла. Я погрузился в долгий, глубокий сон.

Проснулся я, наверно, часов через четырнадцать в светлой, солнечной палате. У койки в белоснежном халате стояла та же Мария Ивановна, но сейчас у нее в руках была литровая банка с домашним компотом и тарелка с румяными продолговатыми пирожками... А?! Это она успела за пробежавшие ночь и утро сварить компот, и испечь пирожки. «Что он Гекубе, что она ему?» Что я — один

из миллионов солдат — для измученного ночными дежурствами, потоком раненых, операциями палатного врача? Именно этот ее поступок, это ее необъяснимое внимание ко мне поразили меня чрезвычайно. Не пойму никогда, если буду искать логики.

* * *

А теперь маленькое лирико-мистическое отступление, относящееся к этому эпизоду.

В 1946 году, когда я жил в келье бывшего Зачатьевского монастыря (Москва, 2-й Зачатьевский переулок, дом 2, корпус 7, квартира 13, комната 4), и война осталась уже позади, хотя было еще холодно и голодно, я сидел в своей десятиметровой келье вечером и при свете коптилки что-то кропал. Вошел почтальон и вручил мне письмо. Я распечатал его. В письме был другой конверт, адресованный моему отцу, который умер за два года до этого. Я вскрыл и стал читать.

Письмо оказалось от доктора Марии Ивановны Козловой. Она спрашивала отца обо мне, жив ли я, если жив, то здоров ли, что делаю. Оказывается, папа вел переписку с Марией Ивановной, когда я лежал в госпитале во Владимире, тайно узнавал все подробности моего лечения, и Мария Ивановна ему отвечала. И почему она вспомнила обо мне теперь и написала отцу, так и осталось для меня неизвестным. Я читал письмо и узнавал то, что было скрыто от меня ранее.

И вот здесь началась мистика. Когда я прочел письмо и задумался обо всем минувшем, за стеной в соседней комнате заиграл патефончик, и полилась мелодия «Разлилась река широко, милый мой теперь далеко». Что это? Я вскочил, смешался. Сделалось не по себе. С какой то потрясающей ясностью всплыли зеленые плюшевые одеяла,

глубокая ночь, покуривающий самокрутку раненый, милое лицо незнакомой женщины у койки...

Я быстро вышел в коридор, чтобы рассеять странное чувство. Я шагал по нашему длинному монастырскому коридору, куда выходили двенадцать дверей из комнат-келлий, дымил «Беломором» и старался успокоить свое волнение. А патефон за стеной продолжал петь: «Разлилась река широко, милый мой теперь далеко». Напиши я подобным образом в пьесе, сказали бы: дешевый прием. А когда это написала сама жизнь — незабываемо! И придает смысл жизни...

ГОСПИТАЛЬ

...Из вас не вылезали черви? Не глисты, а белые небольшие вертялые черви? А у меня из-под гипса на живот густо полезли. Среди ночи. Это было уже в Казани, в госпитале, в бывшем клубе меховщиков на Тукаевской улице, куда меня перевезли из Владимира.

Как мне были омерзительны эти белые твари! Я почти кричал. Я думал, что начинаю заживо разлагаться, и это могильные черви. Пришел доктор и объяснил: бояться нечего, мухи снесли в рану яички, и вот теперь вывелись черви. Только мне и не хватало высиживать мух из их яичек! А ведь высидел, вернее — вылежал. Доктор сказал даже, что это полезные черви, они съедают гной. Но я просил поскорей избавить меня от этих полезных существ, и усталый доктор глубокой ночью возился надо мной, обирая с меня зародышей мушиного потомства. Потом эти червячки появились еще раз, но я уже их не боялся и обирал сам.

А когда у другого раненого они объявились, и парень стал благим матом кричать на всю палату, кричать и приговаривать: «Ой, как мне больно, ой, как больно!» — я

рявкнул на него: «Не ври! Противно, но не больно. У меня два раза это было. Не больно, не ври». Что значит личный опыт, великое дело! И, представьте себе, паренек умолк. Устыдился. Он, видимо, понял, что ему не больно, а только страшно.

Госпиталь. Чего только я там не видел, чего только не испытал! Нет, не только мук и страхов. Сколько там было хорошего, радостного, необыкновенного! Даже в палате смертников, где я пролежал целый месяц.

Скверная палата, темная, тесная, сырая, да и окна выходили в кирпичную стену двора-колодца. Может быть, и верно решило начальство госпиталя: чего, мол, им, все равно временные клиенты, оставим лучшие комнаты для выздоравливающих.

Каждый день два-три покойника, но кровати не пустовали ни часу. Вынесут одного — волокут новых. Большинство без сознания, в бреду. Я не бредил, но и не спал, только два-три часа под пантопоном. Слушал чужой бред, чужое хрипение, зубовой скрежет. Один мальчик, совсем ребенок, лет двенадцати, от силы четырнадцати, все пел, день и ночь, двое или трое суток. Пел песни одну за другой. Нежно, бархатисто, чисто. Голосок прекрасный, и слух безукоризненный. Пел в бреду. Так и умер, не приходя в сознание. Песенка оборвалась, и что-то растаяло в воздухе. Я ждал, не возобновится ли пение, ждал час, два. Нет. Спросил сестру: что, мальчик умер? Она кивнула. Пел, как поют, наверно, ангелы в небесах. Да он уже и на земле был ангелом. Убежал в партизаны и был убит.

Но я же хотел написать о радостном. Впрочем, и этот мальчик — радость. Я слышал его святой голос.

В этой палате, в этом сером предсмертии, я просил книгу и, установив ее на грудь перед глазами, читал вслух «Пиковую даму», «Дубровского». И, представьте себе, те, кто был в сознании, слушали. Слушали внимательно, серь-

езно. Там, где есть хотя бы последнее дыхание жизни, она шевелится.

Потом меня перевели в палату выздоравливающих. Я не умер! Хотя, как я узнал позднее, по дежурству передавали: «Розов сегодня умрет, вы его перенесите туда». Туда!.. По палате ходили слухи, что «там» крысы отъедают носы и уши. Казалось, что уж тебе «там», не все ли равно, когда форма существования белка окончена и он подлежит распаду. Но почему-то было очень страшно знать, что «там» тебе могут отгрызть нос и уши.

А вот когда меня перевели в палату выздоравливающих — это была просторная комната на сорок коек и очень светлая, — в ней уже госпитальная жизнь была ключом. Вперемежку со стонами — хохот, оживленные разговоры, грешные взгляды на молоденьких сестер. Умирали и тут, но реже.

Я лежал на спине. Лежал долго, полгода. За моей головой под окном росло дерево — тополь, кажется. И я закатывал кверху глаза, стараясь по верхушкам увидеть и почувствовать время года, погоду. Когда няня входила в палату, и на ее лице горел румянец, я через этот румянец чувствовал мороз, видел снег. Морозный воздух прямо-таки вливался мне в ноздри.

Замечу здесь, пока не забыл, что, когда я примерно через год попал снова в Казань и вошел в эту палату, чтобы навестить знакомых, острый, густой запах гноя так шан-даранул мне в нос, что меня чуть не вырвало.

Выздоровливающий! Нет, не после гриппа или воспаления легких! И не выздоравливающий, а возвращающийся! Возвращающийся к жизни из небытия. Это буйный приток жизненных сил, когда тебе все время весело, когда в голове светлые мысли, когда ползающая по потолку муха приводит в изумление, когда весь мир со всеми его предметами, звуками, запахами воспринимаешь впервые.